

# У АЙТМАТОВА, В ЧОЛПОН-АТА

Хребет Кунгей-Алатау заплатил дань озеру, направив к нему речку Чолпон-Ата, и она во время таяния снегов, захлебываясь от восторга, мчится по каменному руслу от холода наверху и теплу в долине. Над Кунгейем расположен Заилийский Алатау, но по его державной воле все источники устремлены в северную сторону, к Алма Ате. Эти два хребта по природной целесообразности и справедливости распределили водное богатство между соседними республиками — Киргизской и Казахской.

На северном побережье Иссык-Куля, чуть ли не по самой середине Киргизского моря, в 260 километрах от Фрунзе, и расположен городок Чолпон-Ата. Он находится в заповедной зоне, которая охватывает и само озеро, и двухкилометровую полосу вокруг него. Этому местечку между озером и горами суждено войти в творческую биографию Чингиза Торекуловича Айтматова, а вместе с ним и в современную советскую литературу. Последние строчки романа «И дольше века длится день» заканчивает пометка: «Чолпон-Ата, декабрь 1973 — март 1980 г.». Рука, крепость которой я с удовольствием ощущал при ежедневных утренних встречах и вечерних прощаниях до завтра, написала эти слова-цифры-дату ровно четыре года назад вот в этом самом домике, где и сейчас трудится писатель. Кроме публицистических статей, за этот срок ничего не было опубликовано. А пишется, работает в упоении полного одиночества, и что-то, чувствуется, близится к завершению. О подробностях не говорит, а только:

— У меня получается две-три странички в день. Вернее — в сутки. Побольше — редко. Для большой вещи — капля в море.

Ветерок увлеченности прорывается: он образует волны и на озере и в душе художника. Тут сходство есть. Возникнув в дальних просторах, наполняя мощью глубин, водной вол шумно встречается с берегом, раскатывается, плещется, дробится и поит землю. Вот так и художник, отключившись от людского моря, летает виденным и слышанным чистые страсти, лежащие на рабочем столе. Знаешь! И тем не менее признание:

— Иногда заработаю и не сразу догадываюсь, что бумага перестала и ня пожимать. Ловлю себя на мысли, что мы пошли врозь. Я хочу одно, а она выплывает нечто совсем другое. Потерял управление. Бросаю, ворчу на себя, и ухожу на прогулку.

На этот раз выхаживаем вдвоем. Уж знакомые аллеи и тропинки, вытоптанное вокруг небольшого пресноводного озера. Заросли карагача, березки, липа, хвоя. Высокие тополя с боковыми побегими, плотно жмушмятся к стволу, словно боящиеся от него оторваться. Во владениях приспосабливают на ветру трехметровые прошлогодние камыши с развевавшимися султанами, серо-буроватый цвет их так походит на оперенье фазанов.

Вот миновала и февральская двадцать девятая, которая и превращает весь год в высокосный есть чему приписать полюдные козни! А они поистине удивительны наступивший март разбурился луцде феврала. Все как-то не ко времени, природные шуточки во вторую зиму. Неуравновешенность и бросающаяся в глаза неестественность Прибрежная полоса, где в добрую пору уже вовсю шпарят вверху зеленые, озлаченная топким, светящимся белым и синевой тедком. На камнях, как голые чехлы на чайниках, застыли за гейливые фигурки льда. Созданные ночными заморозками из брызг разбивающихся волн, они плавают из дневном, вопреки всему пригреваемом солнце.

В залив не плавают, а мягко и небользливо покачиваются дикие утки. Они прилетают сюда в нольбре и покидают залч в марте: для них это любовная, свадебная пора. А на территории разгуливают фазаны. Шныряют под кустами, появляются у канавок-арыков, вода которых еще не успела напоить сады, грядки, посева. В эту пору к ним припадают только домашние животные, да птицы, да зверье. Кажется, больше всего и всех налиты уверенностью

в наступлении весенней погоды почки сирени: их узелочки увеличиваются с каждым днем и вот-вот готовы треснуть и помянуть ярко-салатные головки на зеленые листья, хотя ветки в снежной пыльце...

Чингиз Торекулович одет в синюю спортивную куртку, а на голове клетчатая фуражка — произведение какого-то смелого закройщика, взявшего что-то из киргизского национального головного убора и от ковбойской кепки. Пожалуй, он больше любит слушать собеседника, чем разговаривать, но не уходит от ответа на любые вопросы. Признается, что Чолпон-Ата устраивает его необходимой отгороженностью от всех и вся, тишиной, уютом, близостью к природе. Ни во Фрунзе, ни в родном аиле Шекер таких благоприятных условий для творческой работы не создано. Да и как это уединиться при соседстве с многоколенной родней? Как удержаться от соблазна оседлать иноходца и луститься с земляками в поля, на луга, в ущелья? Как уйти от бесед, которые могут затянуться на долгие часы?

А наездник он прирожденный, отменный, обожаем горячих коней. Да и собеседник незаурядный и всюду — желанный гость. Уж где-где, а в Киргизии его знает и стар и млад. Любит он окружить себя аскакалами и добраться до сути в откровенных излияниях. Или повстречаться с молодежью, в спорах с которой затрагивается решительно все. Одним из своих посетителей он подарил книгу с надписью: «Как было бы хорошо, если бы мы могли почаще встречаться, чтобы души наши взаимно заряжались думами жизни».

И в этих словах сказались натура писателя. Встреча произошла как раз в те дни, когда он весь ушел в труды праведные, оставив жену и детей во Фрунзе. А это го гостя принял, встретил, уделил ему не мало времени. Приезжий товарищ, чувствовал, что несколько обременяет хозяина как бы оправдываясь, заговорил о благом одном ворозстве времени и услышал: — Бесплодных и безрадостных встреч нет или почти нет. Теряешь время, не что-то непременно приобретаешь. А ведь время на то нам и отпущено, чтобы его тратить. Вопрос лишь в том — как? А почему вы думаете, что вы у меня кр дет время, а не я у вас? Так положим его в общую копилку...

Объясняет: в киргизской мифологии Чолпон — это Венера, утренняя звезда. Она же и Афродита, возникающая из морской пены. Древние греки называли ее выныривающей Кипридой, так как она вышла из моря на остров Кипр. С ней и связан культ любви и плодородия. Киргизы же, как, впрочем, и другие азиатские народы, чтит Чолпон — Венеру как покровительницу пастухов-скотоводов, чабанов. Слово «ата» переводится и как старец, и как пастырь, то есть пастух.

Сравнительно недавно в Чолпон-Ата столпили скот на зимовку со всего Прииссыккуля. Там, где сейчас стоят домики для отдыхающих, располагались отары овец. Кошар не было и в помине. Овцы ягнелись на лужайках, под кустами, под открытым небом, зачастую прямо на снегу. Молодняк не боялся легких заморозков. Овцы были физически крепче, более приспособленными к суровым климатическим условиям, но причислялись к разряду грубошерстных, как бы второстепенных и второсортных. Потом были выведены тонкорунные породы овец, но они изнеженнее своих грубошерстных предшественниц, им необходимо теплое помещение. Шерсть стала лучше, а выносливость утрачивается...

Картинку рисует картину: десятки, сотни тысяч голов скота размещались на побережье залива. Лежат отара к отаре — их разделяет полоска, разная узенькой пешеходной тропинке. У опытных чабанов не бывало путаницы, когда одна отара вклинивается в другую и растворяется в ней. Вскочили с дежки — пошли на пастбище всей отарой. Вот какое умение требовалось от чабана! Овцы знали и признавали голос только своего пастуха. Другой может задсадить горло от выкриков ко-

манд, а животное не из его стада и ухом не поведет. Когда же вступится свой и скажет вроде бы негромко, а смотришь — овцы послушны...

В «Заметках о себе», появившихся двенадцать лет назад, он писал: «Я видел народные кочевья такими, какими они когда-то были. Кочевье — не просто передвижение со стадами с места на место, а большое хозяйственно-ритуальное шествие. Свообразная выставка лучшей сбрюи, лучших украшений, лучших верховых коней, лучшей укладки на верблюдов, выюков и ковров-полов, которыми похвальнось поклажи. Показ лучших девушек и певцов-импровизаторов, исполнявших траурные (если покидали место, где скончался близкий человек) и дорожные песни. Я застал эти яркие зрелища на самом исходе, потом они исчезли с переходом на оседлость».

Меня всегда удивляла и по-человечески привлекала вот эта житейская дотошность, превосходное знание деталей, мечочей быта. Но обладая таким багажом,



Март, 1984 год.

крупнейший прозаик современности никогда и ни в чем не отдавал свое перо бытовому писательству, как он выражается, репортерскому реализму. Его прежде всего интересует человек в человеке, вечный сказ о нем. В его произведениях — «не будто бы жизнь», не подобие реальности, не похожесть с натяжками или передержками, не плоскостное изображение, а захватывающая своей правдой полнота потока в людском море, ищущая человеческая душа, волшебный дар сопереживания со своими персонажами, с современниками. Потому Айтматов — «не при литературе», а в литературе, в числе ее подлинных и лучших представителей. Он равнодушен, а отсюда и его созидательное, глубоко осмысленное драматическое восприятие действительности. Его слова:

— Писать надо с полной отдачей душевных сил всегда. Умирать с каждой книгой. И рождаться заново ради новой.

Вот так: ни самолюбования, ни тени самоуспокоенности, ни желания повторять себя даже в удачных вариантах. Я пишу не обзорную критическую статью о творчестве писателя Айтматова, в которой можно было бы убедительно показать, как он шагает от одного произведения к другому, как крепчает его реализм, как духовно полнее и богаче становится его герои, включенные в сложные проблемы современности: довольствуюсь заметками наблюдателя, собеседника, оказавшегося, к счастью, у рабочего стола замечательно художника слова. Лежат листки бумаги, испещренные пометками, поправками.

— Не вижу у вас машинки.  
— Пишу от руки. На машинке у меня

не получается. С ручкой как-то присычнее, лучше думается, слово ближе к тебе и ложится на бумагу плавнее, естественнее, под собственный шелот. Машинный стук меня отвлекает, нарушает абсолютную тишину, в коей и рождается ничем не испуганное слово.

И снова вышли на прогулку. Заглянули в книжно-газетный киоск, потопали по городским улицам и возвратились на «свои» прибрежные тропинки-аллеи, дорожки с клумбами и арыками, с весенним гомоном птиц на деревьях. Чингиз Торекулович на этот раз одарил меня рассказом о знаменитом в Киргизии сказителе Саякбае Каралаеве. Он был уникальным манасчи — читал наизусть эпос «Манас» и знал миллион строк из него. Киргиз из Таласской долины и иссыккульский киргиз, каковым был Каралаев, подружилась. Случалось, вместе выезжали в деревни, где Каралаев выступал перед колхозниками с чтением океаноподобного поэтического произведения народа, не знавшего ни своей письменности, ни изобразительного искусства. Да и сам Каралаев был неграмотным, что одно время и служило препятствием для его поступления в Союз писателей. Там все с дипломами были и с «двойными» высшими, со списками опубликованных произведений, а у Каралаева — шаром покати, ни единой печатной строчки. За что, на каком основании принимать в творческий Союз? Да и творчество ли то, что он исполняет?

Но тут активно вмешался Чингиз Торекулович: давайте, говорил он, запишем вариант текста «Манаса» в исполнении Каралаева — на это уйдут годы, но получим целую библиотеку. Каралаев — выдающееся явление киргизской культуры, ее украшение и гордость. Скромного, неприязнательного манасчи, наконец, приняли в Союз.

Я еще не видел таким оживленным, во-

впитываемых кровью и плотью слов. «Манас» избрал человека и вошел в него... Мистификация? Ну, это уж кому как покажется.

Переходя на другую тему, сказал: — Что-то долго молчит Валентин Распутин...

Он чуток к собратьям по перу, ценит их вещи, перечитывает, ждет появления новых. Внимательно следит за литературой союзных республик. Сам не пишет и никогда не писал стихов, но к настоящему поэтическому слову неравнодушен. Строку Давида Кугультинова — «В соавторстве с землей и водой» он вынес в заглавие книги, вышедшей во Фрунзе, содержащей его очерки, статьи, беседы и интервью. Без причины чужие строчки не берет: значит, почувствовал в них что-то близкое, свое, сопереживаемое.

Удивил меня откровенным признанием: читатель заметно охлаждает к его последним произведениям. Получает меньше писем. Куда больше было откликов на его ранние работы, от которых он ушел, прогнувшись, как ему представляется, дальше. Раздумывая, ставит вопрос прямо: что это? Привыкли к имени, непонимание, отражение разочарованности?

Я далек был от того, чтобы выступать в роли успокоителя или же опровергателя: читательская почта в его руках, и ему лучше судить. Просто передаю, не сглаживая, беспокойство художника. Но и в помелевшем потоке писем встречаются такие, что о них стоит упомянуть.

Пришла официальная бумага: Чингиз Айтматов избран академиком Европейской академии науки, искусства и литературы в Париже: она объединяет в своих рядах наиболее выдающихся представителей науки и культуры континента. Впервые в эту Академию избран советский писатель.

Письмо из Франции. «Мой муж и я — пишу супруги Реку, — только что открыли для себя ваши книги. И вот пишу вам, чтобы выразить свое восхищение, которое вызвано их чтением. Ваши описания захватывают, очаровывают. Привлекает поэтичность и гуманизм в облике ваших персонажей. У вас прекрасный язык... Это было для нас первое знакомство с современной советской литературой, которую мы не знали до этого. Если однажды путешествие приведет вас во Францию, то не забудьте, что мы были бы искренно счастливы встретиться с вами у себя».

Несмотря на сетования Чингиза Торекуловича, почта советских читателей и почитателей показала мне значительной. Но, признаюсь, это впечатление человека, который не видел первые волны откликов и лишен возможности сравнить. К тому же письмо магом рознь, и тут куда важнее содержание, а не количество. Есть на редкость трогательные послания, откровенные, я бы даже назвал их исповедальными. И происходит странное: сидящие напротив писателя вижу вот через эти читательские строчки! Он дал жизнь своим героям, и они шествуют по всем городам и весям нашей страны, за рубежом, где его книги изданы чуть ли не в девяносто государствах. Жаль, что до сих пор никто не догадался собрать объемистые токи писем, выбрать наиболее значительное и издать отдельной книгой.

Почта Айтматова — это не только признание выдающегося художественного мастерства писателя: это и высокая оценка гуманной миссии всей советской литературы, ее роли и места в построении общества, в развитии социалистического общества, в духовном формировании человека. Книга писем явилась бы обстоятельной обзорной летописью, составленной многими сотнями авторов, наших и зарубежных.

Сестры-врачи из Уфы Диля Тикеева и Марьян Сулейманова в своем письме аккуртнейшим почерком выписали стихотворение Афанасия Фета, адресуя его Чингизу Торекуловичу:

Одним толчком согнать ладью живую  
С наглаженных отливов песков,  
Одной волной подняться в жизнь иную,  
Учуять ветр с цветущих берегов,  
Тоскливый сон прервать единым звуком,  
Упиться вдруг неведомым, родным,  
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,  
Чужое змиг почувствовать своим,  
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,  
Усилить бой бестрепетных сердец —  
Вот чем певец лишь избранный владеет,  
Вот в чем его и признак и венец!

Прозаик тронут фетовскими строками. А «ладья живая», новая книга, судя по всему, вскоре отчалил от писательской пристани в Чолпон-Ата и присоединится к айтматовской флотилии...

Николай ХОХЛОВ.